

БЛОКАДНАЯ КНИГА

«Блокадная книга» — это суровая книга, которая рассказывает о муках осажденного фашистами Ленинграда, о героизме его жителей, оставшихся в нечеловеческих условиях блокады истинно советскими людьми, преданными Родине. Эта книга о страданиях и о мужестве, о любви и ненависти, о смерти и бессмертии.

Работая над ней, известные писатели А. Адамович и Д. Гранин записали рассказы ленинградцев, переживших блокаду, — живые свидетельства событий, вошедших в историю Великой Отечественной войны как подлинно героическая эпопея, в которой с необыкновенной силой проявились стойкость и величие советского народа.

2.

меня этого как-то не было. А была такая вещь: появилась цель найти в жизни то большое, если говорить громкими словами, что-то духовное, такое, что раньше мало ценил, мало пользовался, не смог осуществить».

В залах Эрмитажа, всегда переполненных посетителями, звучат на всех языках приглушенные голоса экскурсоводов. Картины, скульптуры, узорчатые паркетные, — кажется, что так было всегда и что иначе и быть не могло в этом прославленном источнике красоты, за которой приезжают из далеких стран... Но в служебной комнате несколько сотрудников музея рассказывают, как они жили здесь в войну.

И тут хоть и невпопад, не по теме, а нет сил обойти, отложить на потом одно место из рассказа Павла Филипповича Губчевского. Случай, который чем дальше, тем больше заставлял о себе думать.

— Тридцать два снаряда попало. Степень разрушения разная: снаряд в Гербовом зале упал где-то в двух метрах от Малого тронного зала. По каким законам баллистики, я не знаю, но осколки рванули сюда, в Малый тронный зал. В Гербовом зале дырка в полу вниз, в Растреллевскую галерею, и больше ничего. А Малый тронный зал весь изрешечен осколками. Сбиты люстры, ее не удалось восстановить — хрупкая очень бронза была... Кроме того, осколки буквально изрешетили стены и потолок. Если на стенах ничего не было (вот эти льонские бархаты, шитые серебром, очень стильные, хорошие бархаты, были навты на валы и увезены, эвакуированы), то роспись там феноменально трудная для реставрирования. Вид это имело ужасный. Или та лестница, по которой вы сейчас поднимаетесь в музей, — Посольская, Иорданская, Главный подъезд, как угодно ее называйте, — она имела тоже ужасный вид. Снаряд сделал пробонну в перекрытии этой лестницы. Если плафон только почернел, стал черным, потому что почти три года непрерывно менявшиеся температуры его сделали таким, то вся околотапная роспись и все потолки — это железо (после пожара тысяча восемьсот тридцать седьмого года сделали железные потолки). Железо проржавело, не выдержало, умирало. И вот эта роспись, которую вы сейчас видите, все это осыпалось чешуйками чуть побольше этой книжки. Люди, наши сотрудники, ходили по этим чешуйкам. Вид, конечно, жалкий.

— А картины все увезены были?

— Вообще ведь Эрмитаж вывез миллион сто семнадцать тысяч пред-

метов, но тут уже выступает статистика, а это скучно и неинтересно. В залах картин практически не было. Но нельзя было эвакуировать фреску Анджелико, нельзя было эвакуировать огромный картон Джулио Романо — даже на валу он бы рассыпался, нельзя было эвакуировать роспись лоджи Рафаэля. Осталось и то, что могло само по себе сохраниться, рамы, например.

— Какой вид имели залы?

— Пустые рамы! Это было мудрое распоряжение Орбели: все рамы оставить на месте. Благодаря этому Эрмитаж восстановил свою экспозицию через восемнадцать дней после возвращения картин из эвакуации! А в войну они так и висели, пустые глазницы-рамы, по которым я провел несколько экскурсий.

— По пустым рамам?

— По пустым рамам.

— В каком году?

— Это было весной, где-то в конце апреля сорок второго года. В данном случае это были курсы младших лейтенантов. Курсанты помогли нам вытащить великолепную ценную мебель, которая оказалась под водой. Дело в том, что мы не смогли эвакуировать эту мебель. Она была вынесена в помещенье конюшен (в первом этаже, под всяким садом). В сорок втором году сверху прорвало воду, и мебель, великолепный набор — средневековые, французский классицизм — все оказалось под водой. Надо было спасать, перетащить, а как и кто? Эти сорок старушек, которые были в моем подчинении, из которых не менее трети было в больнице или стационаре? И остальные люди — это все инвалиды труда или те, кому семьдесят с лишним. А курсантов привезли из Сибири, они были еще более или менее сильные, их тут готовили на курсах младших лейтенантов. И они переволокли мебель в тот зал, где безопасно сравнительно, и тут до конца войны она стояла. Нужно было поблагодарить их. Выстроили их в зале (вот между этими колоннами), сказали им какие-то слова, поблагодарили. А потом я взял этих ребят из Сибири и повел по Эрмитажу, по пустым рамам. Это была самая удивительная экскурсия в моей жизни. И пустые рамы, оказывается, впечатляют.

...Можно представить себе, как это было — замороженные за зиму стены Эрмитажа, которые покрылись инеем сверху донизу, шаги, гудко разносившиеся по пустым залам... Прямоугольники рам — золотых, дубовых, то маленьких, то огромных, то гладких, то с вычурной резьбой, украшенных орнаментом, рамы, которых раньше не замечали и которые теперь стали самостоятельными: одни — претендуют заполнить собой пустоту, другие — подчеркивая пустоту, которую они обнимали. Эти рамы — от Пуссена, Рембрандта, Крахана, от голландцев, французов, итальянцев — были для Губчевского обозначением существующих картин. Он неотделимо видел внутри рам полотна во всех подробностях, оттенках света, красок — фигуры, лица, складки одежды, отдельные мазки. Отсутствие картин для него сейчас делало их еще нагляднее. Сила воображения, острота памяти, внутреннего зрения возрастали, возмещая пустоту. Он искупал отсутствие картин словами, жестами, интонацией, всеми средствами своей фантазии, языка, знаний. Сосредоточенно, пристально люди разглядывали пространство, заключенное в раму. Слово превращалось в линию, цвет, мазок, появлялась игра теней и воздуха. Считается, что словом нельзя передать живопись. Оно так, однако в той блокадной жизни слово воссоздавало картины, возвращало их, заставляло играть всеми красками, причем с такой яркостью, с такой изобразительной силой, что они навсегда врезались в память. Никогда после Павлу Филипповичу Губчевскому не удавалось проводить экскурсии, где люди столько бы увидели и почувствовали.

...Муки были страшные, но и радости выпадали такие, что запоминались навсегда.

Никто из блокадников про себя не думает: мы совершили подвиг, проявили героизм. Нет. Но спустя десятилетия для некоторых тяжкие годы эти стали как бы оправданием жизни, знаком гражданской доблести, мерой соучастия в Победе. Чувство это сродни тому самому чувству, какое есть у солдата Великой Отечественной войны. И еще есть у блокадников знание беспредельных возможностей человека, в том числе и своих возможностей, уважение к себе. Конечно, много противоречивого возбуждает каждое прикосновение к прошлому, у каждого свое; ужас и печаль, стыд и красота, отвращение и любовь — все смешалось столь плотно, что иногда нет сил отщепить какое-либо одно чувство.

Перед нашим приходом Павел Филиппович Губчевский, научный сотрудник Эрмитажа, внутренне готовясь к разговору, размышлял: что же такое была для него блокада? Потом он нам признался в этом.

— Мне было трудно самому себе на это ответить. Снаряды? Ну так они же всюду. Бомбы? Они всюду. Голод? Ну, он, конечно, не такой как всюду, а в более страшной форме, но ведь и всюду не так уж сладко жилось. Смерти? Так они всюду были, и еще какие! Ну, может быть, только не в такой концентрированной форме. И мне показалось, когда я сам захотел отдать себе отчет (никогда об этом я нигде не говорил и сам с собой никогда не говорил), что блокада — это раньше всего человек. А человек — он разный. И в силу этого, по-видимому, существует и очень разное восприятие вот этого понятия «блокада» — в зависимости от индивидуальности человека.

И вот что удивительно: после этого я подумал следующее: что ни разу в жизни, ни до, ни после блокады, я не имел такой осознанной и определенной цели в своей жизни. Она, эта цель, даже казалась близкой. Другое дело, что она все время отодвигалась по разным причинам. Но ведь что происходило во мне, в человеке? Я не какой-нибудь руководитель или кто-то, я обыкновенный, простой человек, и я имел четкую и определенную цель, которая всегда до этого (и вот сейчас, сегодня) была растушевана и размыта. А тогда она была определенной. Вот что для меня блокада (конечно, и все остальное, о чем вам уже многие рассказывали). Человек приобретал какую-то удивительную цельность. И как бы вам сказать? Это тоже, наверно, как-то дико звучит: я чувствовал, что во мне что-то снялось, рассвободилось. Конечно, были тысячи «нельзя» и «не могу». Конечно, я не мог выехать за кольцо блокады или поехать на черноморский курорт. И, конечно, я не мог есть вкусные вещи. Более того, я выполнял множество разных обязанностей — и по моему положению (я был начальником охраны больших зданий), и по моему гражданскому долгу. Мне, конечно, приказывали, я получал инструкции, я знал, что-то я должен, что-то обязан сделать, но это «обязан» было для меня свободой. Наверно, вам диким кажется то, что я говорю, но я хочу быть с вами искренним, это так было, и это тоже блокада.

— Вот вы говорите, что все время чувствовали цель, видели ее...

— Я сидел в своей комнате и ждал очередного обстрела, который больше выматывал душу тем, что он долго тянется, — понимаете? — и думал: и какой же я был чудак, как я жил раньше! Я редко ходил в филармонию, редко ходил в Кировский театр. А ведь как много для этого нужно! Нужно, чтобы в театре было тепло, чтобы его осветили, чтобы собрали более сотни оркестрантов и чтобы они были сыты, чтобы собрали артистов балета, чтобы публика могла приехать туда, и тысяча еще «чтобы!» И этого я не ценил, этого не замечал. Я не думал тогда, что вот кончится блокада и я буду есть пшеничную кашу целыми кастрюльками (наверно, вы это слышали, наверно, вам это некоторые блокадники говорят). У